

В. Ф.  
ОДОЕВСКИЙ

*Избранное*



# Владимир Федорович Одоевский

## Последнее самоубийство

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=647535](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=647535)  
Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

### Аннотация

«Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков, тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость, — давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись туком земли; неимоверными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного хлада...»

# Владимир Федорович Одоевский

## Последнее самоубийство

Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к сему бедствию. Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков, тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость, — давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись туком земли; невероятными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного хлада... но все тщетно: протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная ни-

щета и усовершенные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственной водою, приносили обильную жатву, – но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла сама себя. Тщетно люди молили друг у друга средства воспротивиться всеобщему бедствию: старики воспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскошь и испорченность нравов; юноши призывали в помощь силу ума, воли и воображения; мудрейшие искали средства продолжать существование без пищи, и над ними никто не смеялся.

Скоро здания показались человеку излишнею роскошью; он зажигал дом свой и с дикою радостью утучнял землю пеплом своего жилища; погибли чудеса искусства, произведения образованной жизни, обширные книгохранилища, больницы, – все, что могло занимать какое-либо пространство, – и вся земля обратилась в одну обширную, плодоносную пажить.

Но не надолго возбудилась надежда; тщетно заразные болезни летали из края в край и умерщвляли жителей тысячами; сыны Адамовы, пораженные роковыми словами писания, росли и множились.

Давно уже исчезло все, что прежде составляло счастье и

гордость человека. Давно уже погас божественный огонь искусства, давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний; с тем вместе разорвались все узы, соединявшие людей между собою, и чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства их разлучались. Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последнее средство для бедственной жизни: отец с рыданием узнавал о рождении сына; дочери прядали при смертном одре матери; но чаще мать удушала дитя свое при его рождении, и отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность сделалась вольнодумством, насмешка над жизнью – обыкновенным приветствием, любовь – преступлением.

Вся утонченность законоискусства была обращена на то, чтобы воспрепятствовать совершению браков; малейшее подозрение в родстве, неравенство в годах, всякое удаление от обряда делало брак ничтожным и бездною разделяло супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом поднимаемые с постели, тощие, бледные, сходились и обвиняли друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве; каждый думал видеть в собрате общего врага своего, недостижимую причину жизни, и все словами отчаяния вызывали на брань друг друга: мечи обнажались, кровь лилась, и никто не спрашивал о причине брани, никто не разнимал враждующих, никто не помогал упавшему.

Однажды толпа была раздвинута другою, которая гналась

за молодым человеком; его обвиняли в ужасном преступлении: он спас от смерти человека, в отчаянии бросившегося в море; нашлись еще люди, которые хотели вступиться за несчастного. «Что вы защищаете человеконенавистника? – вскричал один из толпы. – Он эгоист, он любит одного себя!» Одно это слово устранило защитников, ибо эгоизм тогда был общим чувством; он производил в людях невольное презрение к самим себе, и они рады были наказать в другом собственное свое чувство. «Он эгоист, – продолжал обвинитель, – он нарушитель общего спокойствия, он в своей землянке скрывает жену, а она сестра его в пятом колене!» – В пятом колене! – завопила разъяренная толпа.

– Это ли дело друга? – промолвил несчастный.

– Друга? – возразил с жаром обвинитель. – А с кем ты несколько дней тому назад, – прибавил он шопотом, – не со мною ли ты отказал поделиться своей пищею?

– Но мои дети умирали с голоду, – сказал в отчаянии злополучный.

– Дети! дети! – раздалось со всех сторон. – У него есть дети! – Его незаконные дети съедают хлеб наш! – и, предводимая обвинителем, толпа ринулась к землянке, где несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему в жизни. – Пришли, ворвались, – на голой земле лежали два мертвых ребенка, возле них мать; ее зубы стиснули руку грудного младенца. – Отец вырвался из толпы, бросился к трупам, и толпа с хохотом удалилась, бросая в него грязь и камни.

Мрачное, ужасное чувство зародилось в душе людей. Этого чувства не умели бы назвать в прежние веки; тогда об этом чувстве могли дать слабое понятие лишь ненависть отверженной любви, лишь цепенение верной гибели, лишь бессмыслие терзаемого пыткой; но это чувство не имело предмета. Теперь ясно все видели, что жизнь для человека сделалась невозможною, что все средства для ее поддержания были истощены, – но никто не решался сказать, что оставалось предпринять человеку? Вскоре между толпами явились люди, – они, казалось, с давнего времени вели счет страданиям человека – и в итоге выводили все его существование. Обширным, адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно татю, закралась сперва в темную земляную глыбу и там, посреди гранита и гнейса, мало-помалу, истребляя одно вещество другим, развила новые произведения, более совершенные; потом на смерти одного растения она основала существование тысячи других; истреблением растений она размножила животных; с каким коварством она приковала к страданиям одного рода существ наслаждение, самое бытие другого рода! Они вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, она все более и более умножала раздражительность чувствования – и беспрестанно, в каждом новом существе, прибавляя к новому совершенству новый способ страдания,

достигла наконец до человека, в душе его развернулась со всею своею безумною деятельностью и счастье всех людей восставила против счастья каждого человека. Пророки отчаяния с математическою точностию измеряли страдание каждого нерва в теле человека, каждого ощущения в душе его. «Вспомните, – говорили они, – с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий ничтожества. – Она закрывает все чувства его волшебною пеленою при его рождении, – она боится, чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул от колыбели в могилу. Нет! коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкою и блещет ему в глаза радужными цветами; она печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу; дальновидная, она дарит младенца мягкими членами, чтоб случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию; несколькими покровами рачительно закрывает его голову и сердце, чтоб вернее сберечь в них орудия для будущей пытки; и несчастный привыкает к жизни, начинает любить ее: она то улыбается ему прекрасным образом женщины, то выглядывает на него из-под длинных ресниц ее, закрывая собою безобразные впадины черепа, то дышит в горячих речах ее; то в звуках поэзии олицетворяет все несуществующее; то жаждущего приводит к пустому кладезю науки, который кажется неисчерпаемым источником наслажде-



ний. Иногда человек, прорывая свою пелену, мельком видит безобразие жизни, но она предвидела это и заранее зародила в нем любопытство увериться в самом ее безобразии, узнать ее; заранее поселила в человеке гордость видом бесконечного царства души его, и человек, завлеченный, упоенный, незаметно достигает той минуты, когда все нервы его тела, все чувства его души, все мысли его ума – во всем блеске своего развития спрашивают: где же место их деятельности, где исполнение надежд, где цель жизни? Жизнь лишь ожидала этого мгновения, – быстро повергает она страдальца на плаху: сдергивает с него благодетельную пелену, которую подарила ему при рождении, и, как искусный анатом, обнажив нервы души его – обливает их жгучим холодом.

Иногда от взоров толпы жизнь скрывает свои избранные жертвы; в тиши, с рачением вскармливает их таинственную пищу мыслей, острит их ощущения; в их скудельную грудь вмещает всю безграничную свою деятельность – и, возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкою бросает их в середину толпы; здесь они чужеземцы, – никто не понимает языка их, – нет их привычной пищи, – терзаемые внутренним голодом, заключенные в оковы общественных условий, они измеряют страдание человека всею возвышенностью своих мыслей, всею раздражительностью чувств своих; в своем медленном томлении перечувствуют томление всего человечества, – тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне, – они издыхают, разуверившись в вере целого бытия своего, и жизнь,

довольная, но не насыщенная их страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный фимиам позднего благоговения.

Были люди, которые рано узнавали коварную жизнь, – и, презирая ее обманчивые призраки, с твердостью духа рано обращались они к единственному верному и неизменному союзнику их против ее ухищрений – ничтожеству. В древности слабоумное человечество называло их малодушными; мы, более опытные, менее способные обманываться, назвали их мудрейшими. Лишь они умели найти надежное средство против врага человечества и природы, против неистовой жизни; лишь они постигли, зачем она дала человеку так много средств чувствовать и так мало способов удовлетворять своим чувствам. Лишь они умели положить конец ее злобной деятельности и разрешить давний спор об алхимическом камне.

В самом деле, размыслите хладнокровно, – продолжали несчастные, – что делал человек от сотворения мира?.. он старался избегнуть от жизни, которая угнетала его своею существенностью. Она вогнала человека свободного, уединенного, в свинцовые условия общества, и что же? человек несчастья одиночества заменил страданиями другого рода, может быть ужаснейшими; он продал обществу, как злему духу, блаженство души своей за спасение тела.

Чего не выдумывал человек, чтоб украсить жизнь или забыть о ней. Он употребил на это всю природу, и тщетно

в языке человеческом забывать о жизни – сделалось одно-значительным с выражением: быть счастливым; эта мечта невозможная; жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Тщетно он заставлял другого в кровавом поте лица отыскивать ему даже тени наслаждений, – жизнь являлась в образе пресыщения, ужаснейшем самого голода. В объятиях любви человек хотел укрыться от жизни, а она являлась ему под именами преступлений, вероломства и болезней. Вне царства жизни человек нашел что-то невыразимое, какое-то облако, которое он назвал поэзией, философией, – в этих туманах он хотел спастись от глаз своего преследователя, а жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное, тлетворное привидение. Куда же еще укрыться от жизни? мы переступили за пределы самого невыразимого! чего ждать еще более? мы исполнили, наконец, все мечты и ожидания мудрецов, нас предшествовавших. Долгим опытом уверились мы, что все различие между людьми есть только различие страданий, – и достигли, наконец, до того равенства, о котором так толковали наши предки. Смотрите, как мы блаженствуем: нет между нами ни властей, ни богачей, ни машин; мы тесно и очень тесно соединены друг с другом, мы члены одного семейства! – О люди! люди! не будем подражать нашим предкам, не дадимся в обман, – есть царство иное, безмятежное, – оно близко, близко!» Тиха была речь пророков отчаяния – она впивалась в душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла, как мысль, давно уже развившаяся в глубо-

ком уединении сердца. Всем понятна и сладка была она – и всякому хотелось договорить ее. Но, как во всех решительных эпохах человечества, недоставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крившуюся в душе человека.

Наконец, явился он, мессия отчаяния! Хладен был взор его, громок голос, и от слов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымолвил он последнее слово последней мысли человечества – и все пришло в движение, – призваны были все усилия древнего искусства, все древние успехи злобы и мщенья, все, что когда-либо могло умерщвлять человека, и своды пресекались под легким слоем земли, и искусством утонченная селитра, сера и уголь наполнили их от конца экватора до другого. В уреченный, торжественный час люди исполнили, наконец, мечтанья древних философов об общей семье и общем согласии человечества, с дикою радостью взяли за руки; громовой упрек выражался в их взоре. Вдруг из-под глыбы земли явилась юная чета, недавно пощаженная неистою толпою; бледные, истощенные, как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятиях. «Мы хотим жить и любить посреди страданий», – восклицали они и на коленях умоляли человечество остановить минуту его отмщенья; но это мщенье было возлелеяно вековыми щедротами жизни; в ответ раздался грозный хохот, то был условленный знак – в одно мгновение блеснул огонь; треск распадавшегося шара потряс солнечную систему; разорванные громады Альпов

и Шимборазо взлетели на воздух, раздались несколько стон-  
нов... еще... пепел возвратился на землю... и все утихло...  
и [вечная] жизнь впервые раскаялась!..